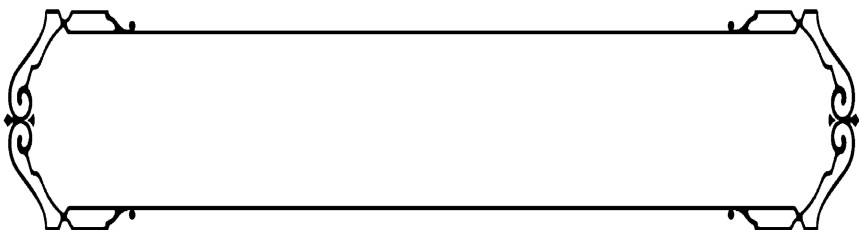


ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

*Надень золотую шляпу и скачи перед ней,
Пока она не скажет: «О возлюбленный мой!
О мой возлюбленный златошляпый прыгун,
Я буду навек с тобой!»*

Томас Парк Д'инвильерс¹

¹ Псевдоним Ф. С. Фицджеральда, герой его якобы автобиографического романа «По эту сторону рая» (1920).



ГЛАВА ПЕРВАЯ

В пору моей впечатлительной юности отец дал мне совет, который с того времени нейдет у меня из головы. «Всякий раз, как у тебя возникнет желание осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди получили на этом свете блага, которые выпали на твою долю».

Вот и все, что он мне сказал, впрочем, разговоры наши всегда отличались редкостным немногословьем, и потому я понял: отец подразумевал нечто большее. В результате я приобрел склонность воздерживаться от любых суждений — привычка, благодаря которой мне раскрывало души немалое число интересных людей, хотя она же и обращала меня в жертву закоренелым занудам. Обладатель не вполне нормального разума умеет быстро обнаруживать такую склонность в человеке нормальном и вцепляться в него мертвой хваткой, отчего и получилось, что в колледже меня несправедливо считали тонким интриганом, поскольку люди никому не любопытные, дичившиеся всех прочих, посвящали меня в свои горестные тайны. По большей части я их откровений отнюдь не искал и нередко, едва поняв по некоторым безошибочно узнаваемым признакам, что на горизонте замаячила интимная исповедь, изображал сонливость, великую занятость или неприязненную легковесность; ведь интимные исповеди молодых мужчин или, по крайней мере, выражения, в которые они облакаются, как правило, отдают плагиатом либо основательно замутняются очевидными недомолвками. Воздерживаться от суждений — значит питать неутолимую надежду. Я и поныне боюсь упустить что-нибудь важное, если вдруг забуду то, что не без тщеславия утверждал мой отец и не без тщеславия повторяю я: что краеугольное ка-

чество добропорядочности распределяется между нами, рождающимися на свет, не поровну.

Ну вот, побахвалившись подобным образом присущей мне терпимостью, я готов признать, что и ей положены определенные пределы. Поведение человека может иметь фундаментом крепкую скальную породу, а может и болотную топь, однако по пересечении определенной черты я перестаю интересоваться тем, что лежит в его основе. Вернувшись прошлой осенью с востока страны, я томился жаждой единообразия мира: желал, чтобы он, когда дело идет о нравственности, застывал по стойке «смирно», а сумбурные экскурсии с правом осмотра тайников человеческих душ более не привлекали меня. Исключением стал лишь Гэтсби, тот, именем коего названа эта книга, — Гэтсби, олицетворявший все, к чему я питал безучастное презрение. Если личность можно оценивать по непрерывной череде удачных жестов, то в нем действительно присутствовало нечто блестящее, обостренная восприимчивость к посулам жизни; он был подобен сложному прибору, который слышит землетрясения, происходящие в десяти тысячах миль от него. Эта отзывчивость не имела ничего общего с вялой впечатлительностью, которая носит благородное прозвание «творческая натура», — она была поразительным даром надежды, романтической готовности ко всему на свете, даром, какого я не встречал больше ни в ком и какой навряд ли увижу снова. Нет, в конечном счете, Гэтсби оказался человеком замечательным — это те, кто жил за его счет, та грязная пыль, что вилась по пятам за его мечтаниями, — она заставила меня на время утратить интерес к бесплодным печалям и взлетам наделенных куцыми крыльями людей.

Происхожу я из видной, состоятельной семьи, три поколения которой жили в родном моем городе на Среднем Западе. Каррауэни — это подобие клана; согласно преданию, мы ведем свой род от герцогов Баклю, хотя непосредственным основателем нашей линии был брат моего деда, перебравшийся сюда в пятьдесят первом, отправивший кого-то взамен себя на Гражданскую войну и основавший оптовую торговлю скобяным товаром, возглавляемую ныне моим отцом.

Двоюродного дедушку мне видеть не довелось; предполагается, однако ж, что я похож на него, — доказательством служит довольно топорной работы портрет его, висящий в кабинете отца. Учебу в Нью-Хейвене я закончил в 1915 году, ровно через четверть века после отца, и несколько позже принял участие в той запоздалой миграции тевтонского племени, что получила название Мировой войны. Наш контрудар доставил мне удовольствие столь большое, что, и вернувшись домой, я все никак не мог успокоиться. Средний Запад представлялся мне теперь не уютным центром вселенной, но

ее неказистой окраиной — и потому я надумал поехать на Восток, дабы изучить тонкости обращения с долговыми обязательствами. Каждый, кого я знал, занимался долговыми обязательствами, вот я и решил, что этот бизнес в состоянии прокормить еще одного холостяка. Тетушки мои и дядюшки обсуждали сей замысел с таким усердием, точно дело шло о выборе для меня частной школы, и наконец постановили: «Ну, что же, д-да», сохраняя, впрочем, на лицах мрачное, неуверенное выражение. Отец согласился в течение года выплачивать мне содержание, и весной двадцать второго я отправился на Восток — навсегда, как я полагал.

Разумнее всего было подыскать жилище в городе, однако время стояло теплое, а я только что покинул край просторных лужаек и приветливых деревьев, поэтому, когда работавший в одном со мной офисе молодой человек предложил снять с ним на пару дом в пригороде, я счел эту мысль превосходной. Он подыскал выдавшее виды шаткое бунгало, сдававшееся за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма отослала его в Вашингтон, и пришлось мне отправиться за город одному. У меня была собака — во всяком случае, пробыла несколько дней, пока не сбегала, — старенький «Додж» и финских кровей служанка, которая стелила мою постель, готовила завтрак и вполголоса делилась сама с собой, стоя у электрической плитки, перлами финской мудрости.

День-другой мне было одиноко, но затем поутру меня остановил на дороге человек, приехавший туда позже меня.

— Не скажете, как попасть на Вест-Эгг? — сокрушенно осведомился он.

Я объяснил. И продолжил свой путь, уже не терзаясь одиночеством: я обратился в проводника, следопыта, первого поселенца. Сам того не заметив, человек этот даровал всему, что меня здесь окружало, свободу.

В то утро, под солнцем и трепетом листвы, которая словно рвалась из древесных ветвей, как при замедленной кино съемке, ко мне вернулась привычная уверенность: с летом жизнь начинается заново.

Мне предстояло прежде всего столь многое прочесть, впитать столько здоровья из молодого воздуха, которым так привольно дышалось. Я купил десяток томов по банковскому и кредитному делу, по ценным бумагам, и они выстроились на полке, красные с золотом, похожие на только что отчеканенные монеты, обещающая открыть ослепительные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Впрочем, я имел возвышенное намерение прочесть и множество иных книг. В колледже я питал склонность к литературе — в один год написал даже для «Йель-Ньюс» несколько весьма напыщенных

и тривиальных передовых статей, — и теперь собирался обновить эту сторону моей жизни, снова стать самым узким из всех специалистов — «широко образованным человеком». И это не праздная ирония — в конце концов, жизнь удобнее всего созерцать, имея в своем распоряжении только одно оконце.

Случай распорядился так, что дом я снял в одном из самых удивительных поселений Северной Америки. Оно находится на длинном, бестолковом острове, что тянется от Нью-Йорка прямо на восток, — здесь среди прочих причуд природы имеется два необычных геологических курьеза. В двадцати милях от города во влажное задворье Нью-Йорка, именуемое проливом Лонг-Айленд — а это самое обжитое в Западном полушарии морское пространство, — вдается пара огромных, одинаковых по очертаниям «яиц», разделенных бухтой, каковую местные жители с учтивой снисходительностью именуют «заливом». Подобно колумбовым, совершенной овальностью эти «яйца» не отличаются, оба слегка приплюснуты со стороны «залива», однако физическое подобие их наверняка сбивает с толку парящих над ними чаек. Бескрылых же существ куда сильнее завораживает их несходство во всем, кроме формы и размера.

Я жил в Вест-Эгг, бывшем, как бы это сказать... менее фешенебельным, чем Ист-Эгг, хотя это поверхностное слово едва ли передает странный и не в малой мере зловещий контраст двух островов. Дом мой стоял на самой оконечности «яйца», не более чем в пятидесяти ярдах от Пролива, и был затиснут между двумя огромными дворцами, которые сдавались за двенадцать, а то и пятнадцать тысяч в сезон. Возвышавшийся справа, колоссальный по каким угодно меркам, был, на деле, имитацией нормандского Hôtel de Ville¹ — с фланговой башней, новизна которой просвечивала сквозь реденькую бородку юного плюща, мраморным бассейном и сорока с лишком акрами лужаек и парков. То была обитель Гэтсби. Правильнее сказать, поскольку знакомство с мистером Гэтсби я свел не сразу, то была обитель джентльмена, носившего эту фамилию. Мой же дом представлялся бельмом на глазу, однако бельмом маленьким и потому его проглядели, а я получил возможность наслаждаться видом на Пролив и на кусочек одной из лужаек моего соседа. Утешительная близость к миллионерам — и всего за восемьдесят долларов в месяц.

На другом берегу «залива» посверкивали выстроившиеся вдоль воды белоснежные дворцы фешенебельного Ист-Эгг, и начало истории того лета пришлось, по сути, на вечер, когда я отправился туда, чтобы пообедать с мистером и миссис Том Бьюкенен. Дэйзи приходилась мне троюродной племянницей, а Тома я знал по уни-

¹ Городской особняк (фр.). — Здесь и далее примечания переводчика.

верситету. Кроме того, сразу после войны я провел с ними два дня в Чикаго.

Муж Дэйзи, обладатель множества физических достоинств, был одним из самых мощных тайт-эндов, какие когда-либо играли в футбольной команде Нью-Хейвена — фигурой масштаба, в некотором роде, национального, одним из тех, кто в двадцать один год достигает таких, пусть и до крайности узких, но высот, что дальнейшая их жизнь приобретает привкус поражения. Семья Тома была несусветно богата — даже в колледже его безудержное мотовство порождало множество нареканий, — ныне же он покинул Чикаго ради Востока с размахом попросту ошеломительным: перевезя, к примеру, из Лейк-Фореста целый табун пони для игры в поло. Трудно представить, что человек моего поколения может быть богат настолько, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Что привело их на Восток, я не знаю. Они прожили, без какой-либо на то причины, год во Франции, а после их словно вихрь какой-то носил по местам, где богатые люди играют в поло и ушваются обществом друг друга. Это последний переезд, сказала мне по телефону Дэйзи, однако я ей не поверил — читать в ее сердце я не умел, но чувствовал, что Том так и будет носиться по свету, выискивая без особой веры в успех драматическую взвинченность какого-то невозвратимого футбольного матча.

Оттого и случилось, что теплым ветреным вечером я отправился на Ист-Эгт повидать двух давних знакомых, которых почти не знал. Дом их оказался изукрашенным даже пуще, чем я полагал, — то был глядевший на «залив» праздничный, красный с белым особняк георгианской колониальной поры. Лужайка начиналась от пляжа и на протяжении четверти мили взбегала к парадной двери, перепрыгивая через посыпанные толченым кирпичом дорожки, огибая солнечные часы и горевшие множеством красок сады, — и наконец, когда я достиг особняка, вспорхнула яркими виноградными лозами по его боковой стене, словно не сумев приостановить свой бег. Фасад прорезала череда французских окон, распахнутых в теплый ветреный послеполудень и сиявших отражениями золота, а на парадной веранде стоял, широко расставив ноги, одетый для верховой езды Том Бьюкенен.

Он изменился со времен Нью-Хейвена. Ныне это был крепкий тридцатилетний мужчина с соломенными волосами, довольно жестким ртом и высокомерной повадкой. На лице его главенствовали светившиеся надменностью глаза, которые сообщали Тому вид угрожающе подавшегося корпусом вперед человека. И даже дамская щеголеватость наезднического наряда не способна была скрыть огромную мощь его тела — казалось, что икры Тома, неизмеримо напрягая шнуровку, до отказа наполняют поблескивающие высокие

ботинки, а когда он поводил плечами, видно было, как под тонкой тканью сюртука ходят колоссальные бугры мышц. То было тело, способное на огромные усилия, — жестокое тело.

Голос Тома, резкий хриловатый тенор, лишь усиливал создаваемое им впечатление вздорной капризности. В голосе Тома Бьюкенена звучала — даже когда он обращался к тем, кто ему нравился, — нотка покровительственной презрительности, и я знал в Нью-Хейвене немало людей, которые его на дух не переносили.

«Я, в отличие от вас, настоящий мужчина, да и посильнее вашего буду, — казалось, желал сказать он, — однако из этого не следует, что я всегда прав». Мы состояли в одном тайном студенческом обществе, и, хотя близкими друзьями не стали, мне всегда казалось, что Том неплохо ко мне относится и испытывает смутное желание произвести на меня приятное впечатление, не поступившись, однако ж, своей вызывающей и какой-то тоскливой резкостью.

Несколько минут мы беседовали, стоя на залитой солнцем веранде.

— Недурственным я здесь обзавелся жилищем, — сказал он, окидывая беспокойным взглядом свои владения.

Он развернул меня крутом и обвел широкой плоской ладонью открывавшийся с веранды вид, охватив этим жестом притопленный в землю итальянский парк, пол-акра темных роз, которые наполняли воздух язвющим ароматом, и покачивавшуюся у берега тупоносую моторную яхту.

— Все это принадлежало Демэйну, нефтедобытчику. — Он снова развернул меня, учтиво, но резко. — Пошли в дом.

Пройдясь под высокими потолками вестибюля, мы вступили в яркое, розовых тонов пространство, которое неуверенно удерживали внутри дома французские окна, светившиеся на противоположных его краях. Окна стояли настежь, белея на свежей зелени наружной травы, казалось проникавшей отчасти и в глубь дома. Легкий ветер гулял по комнате, дувая в нее занавеси на одном конце и выплескивая, как светлые флаги, вовне на другом, скручивая их, взметая к глазированному свадебному торту потолка, а после зыбля над виноцветным ковром, устилая его бегущими, словно по морю, тенями.

Единственным, что хранило в этой комнате совершенную неподвижность, был огромный диван, над которым парили, чуть покачиваясь, точно монгольфьеры на привязи, две молодые женщины. Обе в белом, платья обеих струились и колыхались, как будто их обладательницы только что приземлились здесь, совершив недолгий облет дома. Должно быть, я простоял несколько мгновений на пороге комнаты, вслушиваясь в хлопки и щелчки занавесей, в постановянья картины на стене. Затем раздался гулкий удар — это Том

Бьюкенен захлопнул задние окна, и пойманный в ловушку ветер испустил в комнате дух, и занавеси, и ковры, и две молодые женщины медленно опали из воздуха на свои места.

Той, что была помоложе, я не знал. Она лежала, вытянувшись на своем конце дивана, совершенно неподвижная, чуть приподняв подбородок, словно уравновесив на нем некий предмет, почти наверняка обреченный на падение. Если она и заметила меня краем глаза, то ничем этого не показала — и я, пораженный, едва не забормотал слова извинения за то, что нарушил, явившись сюда, ее покой.

Вторая женщина, Дэйзи, честно попыталась встать — чуть наклонилась вперед, но затем издала нелепый, чарующий смехок, и я, тоже усмехнувшись, вошел в комнату.

— Я п-парализована счастьем.

Она усмехнулась снова, словно сказала нечто до крайности остроумное, на миг задержала мою ладонь в своей, вглядываясь мне в лицо, заверяя меня этим взглядом, что никого на свете ей не хотелось бы видеть так сильно. Обычная ее манера. Тихим бормотком Дэйзи дала мне понять, что увлеченная странной балансировкой женщина носит фамилию Бейкер. (Да, я знаю, поговаривают, будто Дэйзи придумала свой бормоток, чтобы заставить людей склоняться к ней поближе, — пустая придирка, не делающая его менее очаровательным.)

Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она почти неприметно кивнула мне и снова откинула голову назад — надо полагать, та вещь, равновесие которой она старалась сохранить, качнулась, чуть напугав ее. И снова с моих губ едва не сорвались извинения. Почти всякое проявление довольства собой сражает меня, внушая почтительный трепет.

Я взглянул на кухню, и та начала задавать мне вопросы — негромким, пронимающим душу голосом. Голосом из тех, за возвышениями и падениями которых слух наш следит поневоле, как если бы каждая произносимая ими фраза была совокупностью музыкальных нот, которая никогда больше не прозвучит. Грустное, миловидное лицо Дэйзи не лишено было живости — живые глаза, живой и страстный рот, — но в голосе пело волнение, забыть которое мужчинам, равнодушным к ней, было трудно: напевный напор, едва различимое «слушай», уверение, будто вот совсем недавно она проделала нечто веселое, волнующее и, подождите часок, — проделает снова.

Я рассказал ей, как по пути на восток задержался на день в Чикаго и как десяток людей, которых я в нем повстречал, просили передать ей сердечный привет.

— Так по мне там скучают? — восторженно вскричала она.

— Город попросту безутешен. Левое заднее колесо каждой машины выкрашено в черный цвет — вылитый похоронный венок — и во всю ночь вдоль Северного берега разносятся стенания.

— Какая роскошь! Давай вернемся туда, Том. Завтра же! — к чему она ни с того ни с сего добавила: — Ты должен взглянуть на малышку.

— С удовольствием.

— Она спит. Ей три годика. Ты ее когда-нибудь видел?

— Никогда.

— Так взгляни непременно. Она...

Беспокойно круживший по комнате Том Бьюкенен остановился, положил ладонь мне на плечо.

— Чем ты занимаешься, Ник?

— Долговыми обязательствами.

— Где?

Я назвал нашу компанию.

— Никогда о них не слышал, — решительно заметил Том.

Меня это рассердило.

— Услышишь, — отрывисто ответил я. — Если останешься на Востоке.

— О, на Востоке-то я останусь, будь уверен, — сказал он, взглянув на Дэйзи, а затем снова на меня, словно в ожидании чего-то еще. — Я был бы черт-те каким дураком, если бы поселился где-то еще.

И вот тут мисс Бейкер объявила: «Безусловно!» — столь неожиданно, что я вздрогнул, — то было первое слово, произнесенное ею со времени моего появления в комнате. Очевидно, ее оно удивило не меньше, чем меня, поскольку мисс Бейкер зевнула и в несколько проворных движений поднялась на ноги.

— Совсем одеревенела, — пожаловалась она. — Сколько себя помню, все лежу и лежу на этой софе.

— Только не смотри на меня с укоризной, — сердито отозвалась Дэйзи. — Я тебя с самого полудня пыталась в Нью-Йорк вытащить.

— Нет, спасибо, — сказала мисс Бейкер четырьмя коктейлями, как раз в этот миг внесенным в комнату. — Мне безусловно нужно следить за формой.

Хозяин дома уставился на нее, словно не поверив своим ушам.

— Тебе? — Он взял бокал и заглянул в него так, точно там плескалось что-то на самом доньшке. — Как тебе вообще удастся чего-то достичь — это выше моего понимания.

Я смотрел на мисс Бейкер, гадая, чего же это она «достигла». Смотреть на нее было приятно. Стройная девушка с маленькой грудью, со станом, прямизну которого она подчеркивала, слегка от-

водя, точно юный кадет, плечи назад. Она тоже обратила ко мне взгляд серых, прищуренных от солнечного света глаз, и на ее бледном, чарующем, недовольном чем-то лице обозначилось выражение воспитанного ответного интереса. Теперь я сообразил, что где-то уже видел ее — или ее фотографию.

— Вы живете на Вест-Эгг, — надменно произнесла она. — Я там кое-кого знаю.

— А я так ни единого человека...

— Ну, Гэтсби-то вы знать должны.

— Гэтсби? — переспросила Дэйзи. — Какого Гэтсби?

Прежде чем я успел сообщить, что так зовут моего соседа, нас позвали к столу; Том Бьюкенен, властно просунув свою мускулистую руку под мою, повлек меня из комнаты, словно переставляя пашку с одной клетки на другую.

Стройные, неторопливые молодые женщины вышли, слегка подбоченившись, опережая нас, на розовых тонов веранду, глядевшую в сторону заката, подступили к столу, на котором подрагивало под стихавшим ветром пламя четырех свечей.

— А свечи-то к чему? — неодобрительно нахмурилась Дэйзи. И погасила их щелчками пальцев. — Через две недели — самый длинный в году день.

Она обратила к нам вдруг просиявшее лицо.

— Вы тоже всегда ждете самого длинного дня в году, а потом пропускаете? Я вечно жаду, а потом пропускаю.

— Нужно будет что-нибудь на него придумать, — предложила, зевнув, мисс Бейкер и присела за стол так, словно в постель улеглась.

— Ладно, — сказала Дэйзи. — А что?

Она беспомощно взглянула на меня:

— Что обычно придумывают люди?

Я еще не успел ответить, как она, с испугом уставившись на свой мизинец, пожаловалась:

— Смотрите! Я поранилась.

Мы посмотрели — костяшка мизинца отливала темной синевой.

— Это твоя работа, Том, — укоризненно сказала Дэйзи. — Я знаю, ты не нарочно, но ты это сделал. Вот что я получила, выйдя замуж за такое животное, за огромный, громоздкий, нескладный образчик...

— Мне не нравится слово «нескладный», — сварливо перебил ее Том, — даже в шутку.

— Нескладный, — упрямо повторила Дэйзи.

Время от времени она и мисс Бейкер заговаривали вместе, с шутливой бессвязностью, однако назвать эти речи пустой болтовней было нельзя, в словах двух женщин неизменно присутство-